

14/8
LE MESSENGER
TRIMESTRIEL

ВЕСТНИК

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ



ПАРИЖ—НЬЮ-ИОРК

№ 52

I — 1959

LE MESSAGE

périodique de l'Action Chrétienne des Etudiants Russes

Редакционная Коллегия:

Франция: Прот. Василий Зеньковский, К. А. Ельчанинов, И. В. Морозов, Н. А. Струве. Америка: Прот. Александр Шмеман, М. Р. Гизетти, О. Раевская.

№ 52

СОДЕРЖАНИЕ

I - 1959

Стр.

1. О созыве Вселенского Собора — Епископ Кассиан 1
2. О предстоящем соборе Римской Церкви — Прот. Г. Флоровский 5
3. Что такое Вселенский Собор? — Свящ. И. Мейендорф. 10
4. Сия есть благословенная Суббота — Прот. А. Шмеман. 15
5. Православная община на Тайване — Глеб Рар 22
6. Философские мотивы в русской поэзии — Прот. В. Зеньковский 24
7. Оправдание поэта — В. В. Вейдле 31
8. Философские темы в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» — Л. А. Зандер 36
9. Скульптура Шартра — Antony Bridge 44
10. Письмо в Редакцию — Еп. Иоанн (Шаховской) 47

БИБЛИОГРАФИЯ

11. Новый перевод четырех Евангелий на русский язык — Н. А. Куломзин 48
12. Р. Evdokimov. «La Femme et le salut du monde» — В. А. Зандер 50
13. ХРОНИКА 53

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

1. От Редакции 57
2. Практика и теория в педагогической работе — Прот. В. Зеньковский 57
3. Страничка из истории русской педагогики (С. Гессен) — Прот. В. Зеньковский 59
4. Памяти Альфред Бине — Прот. В. Зеньковский 60
5. Проблема Четверговых школ — ** 61
6. Библиография 63

Подписная плата на год: 750 фр. С целью поддержки: 1500 фр. Подписная плата на «Le Messenger Orthodoxe» de l'A.C.E.R. de langue française — 600 фр. в год.

Во Франции подписную плату просим вносить на почтовый счет РСХД: СССР. Paris 2441-04. Action Chrétienne des Etudiants Russes, 91, rue Olivier de Serres, Paris 15.

4 N° par an. Abonnement annuel: 750 fr. Prix du N°: 175 fr. Adresse de la rédaction: Action Chrétienne des Etudiants Russes, 91, rue Olivier de Serres, Paris 15. France.

ОПРАВДАНИЕ ПОЭТА

В полном Собрании Сочинений Толстого, под редакцией Черткова, серия первая, том 72-й (Москва, 1933) напечатано краткое письмо, неизвестно кому адресованное, но, как видно из текста, поэту, в ответ на присланные им стихи. Толстой пишет: «Я не люблю стихов и считаю стихотворство пустым занятием. Если человеку есть, что сказать, то он постарается сказать это как можно явственнее и проще, а если нечего сказать, то лучше молчать. И потому не присылайте мне стихов и, пожалуйста, не сетуйте на меня, если я прямо высказываю свое мнение».

Вероятно, стихи были плохие; незадачливые стихоплеты любят посылать свои творения знаменитым писателям. Писатели эти большей частью бросают стихи в корзину и об ответе не помышляют. Толстой ответил — по чувству писательского долга и потому что вообще на все письма отвечал; но ответ его не простая отговорка, а весьма ясная формулировка вполне определенного взгляда на поэзию. Толстовского взгляда? Да, толстовского; но только если это прилагательное производить от существительного «толстовство», а не от имени собственного Толстой. Сам Лев Николаевич, в эти поздние годы жизни, если и мог сказать, положа руку на сердце: «я считаю стихотворство пустым занятием», то сказать с той же искренностью: «я не люблю стихов» он, даже и в эти годы, все-таки не мог. Пушкинское «Воспоминание» он полюбил на всю жизнь, включил в «Круг чтения» и проливал над ним слезы еще и в старости. О «Последней любви» Тютчева он когда-то высказался пренебрежительно (тоже, мол, песок сыпется, а все о любви пишет), но именно в эти поздние годы томик Тютчева постоянно лежал у его изголовья и он сказал одному из частых своих собеседников (Лазурскому): «жить без него не могу». Отрицания поэзии (как, впрочем, и

⁴⁾ См. об этом мой этюд (на немец. яз.) *Die aesthetischen Ideen in Russland in XIX-XX Jahrhundert*. Holland 1958.

музыки) требовало его учение, с которым не во всем — и меньше всего в этом — согласна была его душа. Но интереснее самого отрицания, его мотивировка; и тут Толстой высказал — действительно, с полной прямоотой — то самое, что думают многие, но не решаются высказать открыто.

«Если человеку есть, что сказать, то он постарается сказать это как можно явственнее и проще, а если нечего сказать, то лучше молчать». Эти толстовские слова так и вертятся у многих на языке, но до произнесения их дело обычно не доходит. Вместо этого произносят фразы двух родов. Одни говорят: «Я этих стихов не понимаю; писали бы хоть — ну там, как Пушкин, Лермонтов, а то словечка в простоте не скажут, всё выкрутасы какие-то». Другие предпочитают высказываться иначе. «Стихи, — говорят они, — ничуть не хуже прозы; только надо, чтобы они были бодрые, жизнерадостные, призывали к действию, а всякая эта грусть-тоска, любовь да слезы, да черные думы, — на что ж это нам нужно при строительстве социализма?» И те, и другие, однако, душою несколько кривят. Первым и пушкинские стихи не в коня корм, а вторым и бодрые ничем не любезней грустных: ведь **стихами** о строительстве социализма (или чего бы то ни было) лучше, чем в прозе не напишешь. Если бы они были достаточно мужественны и правдивы, они сказали бы, как Толстой: пожалуйста не пишите стихов; мы считаем стихотворство пустым занятием.

И в самом деле, если есть у человека, что сказать, и если он может просто и ясно высказать это в прозе, то зачем ему писать стихи? Ведь не для того же, чтобы говорить, когда сказать ему нечего? Толстой рассуждает совершенно правильно: он забыл только одно: то, что знал лучше всякого другого. Есть у человека неискоренимая потребность выразить еще и то, чего никакими всего только простыми и ясными, служащими для практических надобностей словами выразить невозможно. В жизни он это выражает взглядом, улыбкой, рукопожатием, иногда молча, а иногда в сопровождении тех же самых привычных, каждодневных слов, которые получают при этом смысл, далеко выходящий за пределы обычного их значения. В литературе он тоже ищет этому выражения не в учебнике, не в газетной статье, не в печатном слове, как таковом, а в том, что умеют делать с этим словом писатели и поэты. Разве помнил бы Толстой то, что Пушкин писал в тот самый год, когда он, Толстой, родился; разве плакал бы в старости над его словами, если бы Пушкин всего только ясно и просто сказал, что по ночам ему плохо спится и что мысли у него бывают тогда пренеприятные: вспоминается старое и нехо-

рошее, что лучше было бы забыть, но чего он все-таки забывать не хочет. С **такой** простотой и ясностью Пушкин, однако, не писал. Он писал иначе:

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Никакой прозой не скажешь того, что Пушкин сказал этими стихами. Этим-то и ограждены права поэзии. Можно обойтись без нее — хоть Толстой и не мог без нее обойтись — но заменить ее нечем: ее дела без нее не сделаешь. Тем же, кто без нее обходится, тем лучше Пушкина в укор другим поэтам не хвалить, да и о бодрой и небодрой поэзии не распространяться. Здорового оптимизма в этом стихотворении что-то не видать, а язык его вместе с тем не совсем тот, каким мы пользуемся в обычной жизни. Какая уж тут ясность и простота, когда Пушкин называет стогнами то, что сам в разговоре называл площадями. Да и площади эти у него — немые (что ж беседовать им между собой что ли?); змея грызет ему сердце; воспоминание разворачивает свиток, — на котором он не желает смывать каких-то явно не существующих слов. Нет уж увольте: «если человеку есть что сказать, то он постарается сказать это как можно явственнее и проще», а стихотворство занятие пустое.

«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». — «Это чтобы стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами, кто же на свете в рифму говорит?»

Так, размечтавшемуся Жуковскому, во всеоружии здравого смысла, отвечает через полвека Смердяков. Нельзя отказать Смердякову в одном преимуществе: упоминая о рифме и стихе, он тем самым связывает поэзию с воплощением ее в слове, тогда как в прекрасном по замыслу своему определении Жуковского поэзия испаряется в мечту и грозит ограничиться поэтической мечтательностью. Романтики, особенно того направления, к которому примыкал Жуковский, слишком легко подменяли поэзию порывом к ней и предпочитали ей самой ее «туманный идеал». Такой взгляд приводит к ее смешению с ложной поэтичностью, но этим еще отнюдь не снимается противоположность между тем, как судит о поэзии поэт и как судит о ней лакей из «Братьев Карамазовых». Там, где Жуковский видит Бога, Смердяков усматривает вздор.

Было бы вполне ошибочно объяснять изречение Смердякова его глупостью и серостью. Во-первых, Смердяков совсем не глуп, а, во-вторых, он не выдумал отрицания поэзии, а позаимствовал его у людей более образованных, чем он. Отрицание это имеет свою историю; оно коренится в XVIII веке, в веке Просвещения. Недаром писал Боратынский:

Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны, —

недаром и в характере отца Смердякова, Федора Павловича Карамазова, есть нечто галантно-вольтерьянское. Исходя именно из этой традиции Просвещения, друг Шелли и других английских романтиков Пикок, автор совсем не безразличных романов, и даже неплохих стихов, писал:

«Поэт в наше время — полуварвар в цивилизованном обществе. Он живет в прошлом... Какую бы малую долю нашего внимания мы ни уделяли поэзии, это всегда заставит нас пренебречь какой-нибудь отраслью полезных знаний, и прискорбно видеть, как умы, способные на лучшее, растрачивают свои силы в этой пустой и бесцельной забаве. Поэзия была трещеткой, пробуждавшей разум в младенческие времена общественного развития; но для зрелого ума принимать всерьез эти детские игрушки столь же бессмысленно, как тереть дёсна костяным кольцом или хныкать, если приходится засыпать без погремушки».

Пикок вовсе не был одиноким чудаком. Писарев, например, у нас, без всякого затруднения с ним бы согласился, а Салтыков, человек менее задорный, но столь же «позитивно мыслящий», высказался о стихах следующим образом (см. в томе 9-м его сочинений, издания 1890 г., материалы для его биографии, собранные

К. Арсеньевым): «Помилуйте, разве это не сумасшествие по целым дням ломать голову, чтобы живую, естественную человеческую речь втискивать во что бы то ни стало в размеренные, рифмованные строчки? Это все равно, что кто-нибудь вздумал бы вдруг ходить не иначе как по разостланной веревочке, да непременно еще на каждом шагу приседая».

Итак, Толстой, в этом вопросе, оказался союзником фанатиков прогресса и не совсем разумных поклонников разума, союзником Писарева, Салтыкова и даже Смердякова? Увы, оказался. Но все же мотивы отказа от поэзии не у всех ее худителей одни и те же. Поэт, если он ищет оправдания себе и своему ремеслу —

Моя напасть, мое богатство,
Мое святое ремесло

писала Каролина Павлова — должен по разному отвечать трем разновидностям своих противников.

Смердяков выражает взгляды первой разновидности — низшей, но и самой распространенной. Стихи потому для него «существенный вздор-с», что «никто на свете в рифму не говорит». Поэзия для него и ему подобных не имеет права на существование, потому что не имеет применения в обыденной жизни. Раз люди не говорят стихами, значит они и не нуждаются в стихах. Этим своим недругам поэт ответит: да разве человек нуждается лишь в том, что легко назвать первыми попавшимися словами? Разве довольствуется он той обыденщиной, которая его окружает и с которой ему приходится мириться? Если ты плаваешь в ней, как рыба в воде, я пишу не для тебя; но не мешай мне говорить о другом и не мешай другим меня слушать.

Второй круг врагов поэзии состоит из людей более хитроумных. Они говорят, что в прошлом поэзия была пожалуй и не бесполезна, но что в наше время нужны не слова, а дела, или такие слова, которые служат делам. В наше время нужна наука и ее применение к жизни, нужно осуществляемое при помощи науки строительство; а поэзия, если на что-нибудь годится, то разве на то, чтобы подстегивать строителей, чтобы внушать им трудовой энтузиазм. Поэт на это ответит: вы переоцениваете различие времен. Двести и триста, и тысячу, и три тысячи лет тому назад люди рождались, любили, умирали; верили, мучились, радовались; ненавидели, прощали, как они это делают и теперь. Ни-

какая наука не только не в состоянии этого изменить, но и никакого отношения к этому иметь не может. Если же по вашему она до такой степени способна переделать людей, что им станет непонятен и ненужен тот язык, который обо всем этом только и может говорить — по-человечески говорить, а не языком логарифмов или статистических выкладок — тогда и впрямь не будет больше поэзии, но не будет больше и человека.

Есть, однако, еще и мотивы высшего порядка для отрицания поэзии. Первому встречному они чужды, но Толстому — в глубине его души — только они и подсказали его несправедливые и мертвящие слова. То, что проза говорит проще и яснее, это всего лишь довод, позаимствованный им у Салтыковых или Смердяковых. Суть его мысли не в нем, а в безусловном первенстве непреложного морального закона. Если вы живете не так, как нужно, то никакая поэзия не спасет вас от зла, и не только не спасет, но еще отвлечет вас, помешает вам искать добро, идти к добру. Пусть так, однако, и тут есть поэту что сказать. Он ответит: все религии, все великие моральные учения обращались к человеку, пользуясь, если и не всегда стихами, то всегда языком поэзии. Вы сами, Лев Николаевич, делали это всю жизнь. Все самые пужные человеку, самые человеческие слова принадлежат к словарю поэтов, получают свой смысл и полностью его хранят лишь в языке поэзии. Языком поэзии говорит, как в тех пушкинских стихах, которые вам были так дороги, сама человеческая совесть. И пока не заглохнет совесть, до тех пор не умолкнет и поэзия.

Таково последнее и самое верное оправдание поэта.

В. Вейдле